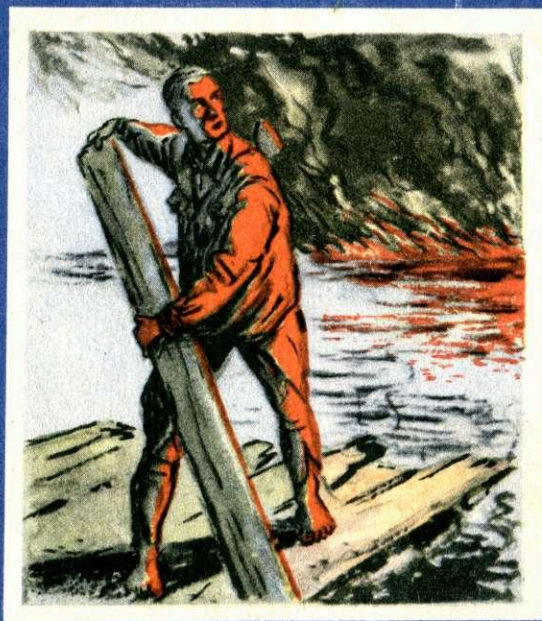




Александр ВОИНОВ

№ 7 (386)



ПАМЯТЬ СЕРДЦА

РАССКАЗЫ

Цена 50 коп.

43113

2

Военное Издательство Министерства Обороны Союза ССР

1960

А. И. ВОИНОВ



Воинов Алесандр Исаевич родился в 1915 году в Ленинграде.

После окончания средней школы поступил в Ленинградское военное училище связи им. Ленсовета, но вскоре был переведен в Киевское военное училище связи им. М. И. Калинина, которое и окончил

с отличием. В Киевском училище связи начал свою литературную работу в многотиражке.

Участвовал в войне с белофиннами в составе одной из авиационных бригад. Во время Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом Советского Информбюро на Ленинградском, Волховском, Брянском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах.

Первая книга А. Воинова „Рассказы о генерале Ватутине“, в основу которой положены впечатления войны, встречи с прославленным генералом, опубликована в 1950 году в Детгизе.

Приключенческая повесть „Кованый сундук“, опубликованная в 1954 году в „Комсомольской правде“ и вошедшая позже в альманах Детгиза „Мир приключений“, посвящена военным приключениям в годы войны.

В дальнейшем А. Воинов продолжает работать над темой о советских полководцах. Этому посвящена и его повесть „Пять дней“, в которой рассказывается о событиях Сталинградской битвы. А. И. Воинов член Союза писателей.

Обложка и рисунки художника **И. Михайлина**

Редактор **Б. Борисов**



Главное Политическое Управление Советской Армии
и Военно-Морского Флота

№7 (386)

ПАРТБИЛЕТ

Много лет прошло с тех пор, но я часто вспоминаю об этой истории, вспоминаю и думаю о том, что молодость имеет много достоинств, но все же она иногда склонна видеть мелководье там, где на самом деле большая глубина.

Это произошло под Сталинградом в самые напряженные дни октябрьских боев. По дымным землянкам уже веяло горячим ветром приближающегося большого наступления. Мы не знали, где и когда оно начнется, но были твердо убеждены: оно не за горами. В эти дни только в одной нашей бригаде больше ста человек подали заявления о приеме в партию. И одному из них — моему бойцу Василию Логинову — было отказано.

Может ли быть в жизни человека час горше и тяжелее, чем тот, когда товарищи, с которыми ты равен и перед жизнью и перед смертью, с которыми, казалось, делишь все — опасность, тяжелый труд и глоток солонатовой, теплой воды, отказывают тебе в доверии.

Сейчас, по прошествии многих лет, когда я вспоминаю Василия Логинова, его костлявые узкие плечи, растерянное лицо, освещенное тусклым светом «летучей мыши», и всех нас, его товарищей, вынесших свое жестокое решение, я отчетливо понимаю, что я и сам проходил вместе с ним суровое испытание, но не выдержал его. А жизнь мне готовила уже такой урок, который я запомнил навсегда.

До этого я с высоты своих двадцати двух летнисходительно и строго смотрел на людей, подчиненных мне, и считал, что вижу их насквозь, с первого взгляда. Но события, которые развернулись через несколько часов после того, как мы вынесли свое решение, навсегда излечили меня от этого заблуждения.

Что же заставило нас отказать Логинову в исполнении его заветного желания? Дело, казалось, было простое и ясное. Но я еще не знал тогда, что есть на свете такие простые и ясные дела, которые могут повернуться неожиданно какой-то новой стороной и оказаться совсем не простыми.

Все началось с того сумеречного дождливого утра, когда в мою батарею прибыла группа молодых, необстрелянных бойцов, и с ними этот невысокий, нескладный парень с большой головой на тонкой шее, сразу выделившийся среди других молчаливостью и медлительностью. На вид ему было больше двадцати лет, а на самом деле недавно исполнилось восемнадцать. Он был северянин, из Карелии, и работал где-то на лесосплаве. Я представлял себе лесогонов людьми могучими, кряжистыми, и когда мой новый боец сказал, что ходил на плотях, я ему не поверил.

По-разному складываются судьбы. Одни приходят в роту и быстро завоевывают всеобщее уважение; к другим долго присматриваются, прежде чем поймут,

чего они достойны; а есть и такие, кто сразу оказывается предметом насмешек. Этот всегда в чем-нибудь виноват, всегда у него что-нибудь не в порядке, и то, что другому сходит с рук, этому никогда не прощается. О нем говорят на всех собраниях и обязательно плохо.

Логинов на второй же день после прибытия в батарею с ходу попал в эту группу. Накануне был тяжело ранен связной командира полка, бежавший под сильным огнем с важным поручением, и начальник штаба приказал командиру нашего дивизиона прислать подходящего человека, который бы сумел срочно доставить в штаб бригады пакет с донесением. Как это получилось, уже не помню; приказ катился и катился от одного начальника к другому, и вскоре рядовой Логинов прибыл в блиндаж начальника штаба за пакетом.

Как раз в эти дни наша армия потеснила противника, оставившего нам такие густые минные поля, что их не только в один день, но даже и в месяц не снимешь. Поэтому минеры проделали в них проходы, а вокруг поставили вехи с грозными надписями: «мины!»

Логинов благополучно добрался до штаба бригады. Честь честью сдал пакет и повернул назад. Круглым путем, каким он шел туда, ему опять пришлось бы петлять по балкам километра четыре. А уже смеркалось. Он торопился и вдруг увидел полевую дорогу, которая круто забирала наверх и уходила влево, — к той редкой, избитой снарядами роще, где располагалась батарея.

Дорога была так гладко укатана и казалась такой безопасной, что он смело двинулся по ней, и через полчаса уже ел в своем блиндаже остывший суп.

Все было бы хорошо. Но как раз в это время в блиндаж спустился усталый и продрогший сапер Сорокин. Он ругательски ругал проклятые мины, которые сам черт не найдет — так они ловко упрятаны.

Уж кажется, каких только мин не приходилось ему разряжать, а сегодня с него семь потов сошло, пока он бился над ловушкой, устроенной на дороге. Да так и не совладал с ней. Еще придется потеть...

Не успел сапер кончить свой рассказ, как выяснилось, что Логинов только что прошел той самой дорогой, по которой ни шагу нельзя ступить, чтобы не взлететь в воздух.

Услышав это, сапер отпрянул:

— Спятил, парень! Да как ты жив остался!..

И тут произошло то, чего ни Сорокин, ни сидевшие рядом солдаты не ожидали. Логинов вздрогнул, побледнел и, всхлипнув, уткнулся лицом в руки.

В другое время, в другой обстановке — его бы поняли. Шутка сказать — смерть подстерегала его на каждом шагу, а шагов была добрая тысяча. Но здесь, в двухстах метрах от противника, смерть была так близка от каждого, так обыденна, что многие, понятные в мирное время чувства, казались смешными. Остался жив и невредим и ревет, как девчонка, «щенок сопливый!»

Что и говорить, мне, его командиру, следовало бы понять, что парню пришлось туго: слишком тяжелое испытание выпало ему чуть ли не в первый день его фронтовой жизни. Но от юношеской самоуверенности я усмотрел в этом происшествии лишь свидетельство излишней чувствительности, даже трусоватости своего нового солдата.

Особенно не взлюбил Василия Логинова командир орудия сержант Фомичев. Он иначе не называл его

как «тюфяк», жаловался, что он лентяй, косорукий и все время просил меня куда-нибудь откомандировать этого «недотепу». Фомичев был из тех людей, которые дарят дружбу скупой, а уж если невзлюбят, то с той страстностью и убежденностью, которая заставляет поверить в свою правоту.

Фомичев — человек лет тридцати, уверенный, сильный, напористый, и мне было приятно, когда он, пошевеливая густыми бровями, говорил: «Уж мы с нашим командиром промаху не дадим! У нас хватка мертвая!»

Прошло немного времени, и я стал смотреть на Логинова глазами Фомичева. На этом я и попался...

Однажды ко мне подошел сержант Муромцев, наш парторг, человек пожилой, неторопливый. У него дети были в моем возрасте. Он отвел меня в сторонку и хмуро сказал:

— Нехорошо у нас получается, товарищ лейтенант!

— А что плохо?

— Логинов парень молодой. Можно сказать, из семьи недавно...

Я рассердился.

— А ты что — защищать его пришел. Да его гнать из батареи надо!..

— Куда гнать! В тыл?.. — усмехнулся Муромцев. — Или, может быть, за передний край!..

— Ну, что ты от меня хочешь?..

Муромцев не успел ответить. Его срочно вызвал комиссар полка. А вечером того же дня я узнал, что Муромцева убило осколком снаряда в окопе, где он разговаривал с солдатами.

Парторга похоронили на склоне балки. В его брезентовой полевой сумке мы нашли документы:

несколько протоколов собрания, платежную ведомость и пачку заявлений о приеме в партию. Среди них было и заявление Логинова с рекомендациями. Одну рекомендацию дал Муромцев, а другую тот самый сапер Сорокин, который был виновником всех его дальнейших неприятностей.

В этот же вечер мы собрались в блиндаже, чтобы обсудить заявления о приеме в партию.

Блиндаж был тесный, и поэтому все не могли в нем уместиться. Подавших заявления мы вызывали по одному, а после приема они оставались тут же —



в блиндаже. Сидели, тесно прижатые друг к другу, так что руку нельзя было поднять, не толкнув соседа.

Всех, кого мы принимали, — мы знали и верили в них. Каждый рассказывал, как жил до войны, но события предыдущей его жизни мало значили по сравнению с делами, совершенными здесь, на переднем крае.

Когда мы разобрали десять заявлений и перешли к одиннадцатому, Фомичев — это был новый парторг батареи — с таким ожесточением выступил против Логинова, что рекомендация Муромцева не могла поправить дела. А Логинов стоял тут же, у входа в блиндаж, в измазанной глиной шинели, хмуро слушал Фомичева и молчал.

Страсти разгорались. Не все были с Фомичевым согласны. Сорокин встал и сказал, что хоть Логинов и «психанул», перейдя через минное поле, но неизвестно, в каком бы виде явился после такой прогулки и сам Фомичев. Выступили в защиту Логинова и другие. Голоса раскололись. Семь — против, семь — за. Мой голос был пятнадцатый, и я подал его — против.

Фомичев резким движением протянул Логинову заявление. Тот взял его с каменным лицом, медленно сложил, осторожно перед этим расправив рекомендацию Муромцева, и спрятал в нагрудный карман. А потом, так же молча, повернулся и пошел по скрипучим ступенькам вверх.

В блиндаже стало тихо. Даже Фомичев примолк. Все мы ощущали что-то неладное, нехорошее.

Первым вскочил Сорокин.

— Обидели вы человека! — сказал он и, как-то горько махнув рукой, пошел вслед за Логиновым.

С тяжелым чувством вернулся я к себе в блиндаж

и прилег на нары. «Что же случилось, — думал я. — Почему я так уверен, что Логинов плох? Только потому, что он не нравится Фомичеву... Но Фомичев и сам не очень-то разбирается в людях. Муромцев его не раз осаживал. И вообще, имел ли я право умолчать о последнем разговоре с Муромцевым? Ведь только я один знаю о нем. Будь старик жив, он наверняка убедил бы собрание принять Логинова. Ну, а его рекомендация — тоже не пустяки. Вроде завещания...» Я думал, думал, — и сон бежал от меня. До этой ночи я никогда не ощущал, что нары такие жесткие.

Я думал и о своей роли в этом деле, — мой голос решил все. Не согласись я с Фомичевым, и Логинов был бы принят... Я старался понять, что же все-таки меня так беспокоит. В конце концов мы договорились, что после боя Логинов снова сможет подать заявление, и тогда ему не будет отказано... Нет, конечно, дело было не только в этом. Где-то, в глубине души, я понимал, что поступил не по собственному глубокому убеждению, а потому, что не хотел спорить с Фомичевым. Поэтому-то я так и кричал на Муромцева... И сейчас, лежа в пустом холодном блиндаже, прислушиваясь к редким разрывам мин, я продолжал вести разговор, которому так и не суждено было завершиться. Хотя я уже лейтенант, а Муромцев был всего старшим сержантом, но на самом деле он был во многом опытнее меня. Конечно, я окончил училище и лучше мог рассчитать точность огня батареи, решить тактическую задачу, но когда дело касалось людей, их судеб, тут уж точность решений Муромцева во много раз перекрывала мою.

По Уставу внутренней службы — я был командиром и над Муромцевым, и над всеми своими солда-

тами, а по другому уставу — Уставу партии я был рядовым коммунистом. Сложность и мудрость этого кажущегося противоречия заключалась в том, что я учил и в то же время сам учился у своих солдат, учился тому, что приходит только с опытом жизни.

И вот Муромцев ушел... Я как-то не мог представить себе, что никогда больше не увижу его чуть сутулую фигуру, не услышу его прокуренный хриплый голос. Конечно, я очень к нему привык. У него были те качества, которых тогда еще не могло быть у меня. Он был терпелив с людьми, а я резок. Резкость и нетерпеливость я тогда считал своими достоинствами. В этом мне виделось подлинное проявление волевой натуры. Муромцев мог часами беседовать с человеком, просто сидеть на уступе окопа, курить и говорить о самых обыденных мелочах. Я же считал, что должен не говорить, а приказывать, а уж если и дойдет до разговора «по душам» (я был убежден, что время от времени мне следует разговаривать со своими солдатами по душам), командир обязан наставлять, внушать, учить уму-разуму, иначе как же быть с его авторитетом.

Поведение Муромцева не всегда было мне понятно. Иной раз я даже не совсем одобрительно относился к его бесконечным беседам. Но в ту ночь я почувствовал: что-то важное оставил Муромцев в моем сердце.

Так я и заснул, тяжелым, беспокойным сном. Близкие разрывы будили меня, но я плотней натягивал на голову шинель, переворачивался на другой бок и снова погружался в полусон, в полудремоту, сковывающую тело, но не дающую отдыха. Мысли лениво ползут, и ты не можешь их остановить, на ухо давит жесткая ткань вещевого мешка, выполняющего роль

подушки, а от полы мокрой шинели нестерпимо кисло пахнет грубой шерстью.

Не знаю, сколько времени я спал, вернее — вертелся на своем чертовски неудобном ложе, как вдруг почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо.

— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант! Быстрее!.. Вас вызывает командир полка!..

Ощущая во всем теле ломоту, я с трудом сел на доски.

— Что случилось? — спросил я, стараясь разглядеть в неясном желтоватом свете угасающей «летучей мыши» фигуру солдата, в котором я сразу угадал Василия Логинова.

— Не знаю, товарищ лейтенант! Из штаба передали, что вам приказано прибыть быстро... Можно идти?

Я помедлил, стараясь понять, почему именно Логинов передает мне это приказание, и вдруг вспомнил: ведь он сегодня дежурный телефонист.

— Идите! — отослал я его и стал быстро натягивать шинель.

Командир полка майор Горелов встретил меня на пороге своего блиндажа — видно было, что он еще не ложился спать. Короткие волосы у него были взъерошены, а на бледном усталом лице, особенно в уголках глаз, пролегли новые глубокие морщины. Мы с Гореловым были знакомы давно — еще в июле вместе отходили от Тима, куда гитлеровцы нанесли свой внезапный удар, и это сблизило нас.

Я не успел доложить ему о своем приходе, как он провел меня в блиндаж. В углу начальник штаба чертил на карте, сверяясь с оперативной сводкой, которую он держал в руках, а ближе к входу, у стены,

на короточках сидели телефонисты. Они то и дело откликались на какие-то вызовы.

— Садись, — сказал мне Горелов, указывая на грубо сколоченную скамейку. Она стояла перед столом, за который уселся он сам.

По тому, как Горелов встретил меня, я сразу понял, разговор будет серьезный, и не ошибся. Без долгих слов он приступил к делу:

— У тебя сколько орудий?

— Два... Но одно из них требует серьезного ремонта!..

— Так вот, тебе выделено из резерва еще одно орудие. Но за ним нужно послать на левый берег Волги... Понятно?..

— Понятно, товарищ майор. Разрешите идти?

— Нет, подожди.

Он вдруг испытующе и сосредоточенно посмотрел мне в лицо, как бы взвешивая, способен ли я на нечто большее, чем исполнение своих обычных обязанностей, а затем быстрым движением взял телефонную трубку.

— Пятнадцатого к аппарату! — отрывисто сказал он, и я удивился, хоть и не подал вида: пятнадцатый — это начальник политотдела бригады Сергеев. Какое у него может быть ко мне дело? Сергеев долгу не подходил, майор нетерпеливо морщился, но, наконец, дождался. — Так, может быть, мы пошлем Костицина, — сказал он так, словно продолжал только что прерванный разговор. — У него как раз там и дело есть. Прислать к вам? Хорошо... — Слышал? Иди, — сказал мне Горелов, положив трубку. — Он тебе все объяснит.

И я пошел. Вернее, пополз между развалинами домов к подвалу, где находился Сергеев. Через пятнадцать минут уже в точности знал, что мне пред-

стоит сделать. В бригаде не хватает партийных билетов, нужно привезти триста штук вместе с бланками личных дел. Мне выдали доверенность и баул из толстого брезента, с ушками на ручках, куда продевается шнурок для сургучной печати. Суховатый и немногословный. Сергеев строго-настрого приказал взять с собой бойца для охраны. Он, конечно, послал бы за партбилетами кого-нибудь из политотдела, но от прямого попадания бомбы в блиндаж погибли почти все его работники.

Я вернулся к себе, когда уже начало рассветать, сразу вызвал Фомичева и Соколенка, командира второго орудия. Мы посоветовались, как быть. Было решено, что Соколенок останется, — у него еще пропасть работы по ремонту механизма отдачи, а Фомичев поедет со мной на левый берег, и там мы расстанемся: он отправится за орудием, которое передается нам вместе с боевым расчетом, а я — за партийными документами. Кого бы взять с собой из бойцов? Когда я задал этот вопрос, Фомичев хитро усмехнулся, и я сразу понял, что мы подумали об одном и том же.

— Хорошо, — сказал я. — Пришлите его ко мне. Проверим еще раз человека.

Через несколько минут Логинов с автоматом на груди переступил порог моего блиндажа и доложил о прибытии. По правде скажу, я бы выбрал для этого дела кого-нибудь другого, кого больше знал. Но переправляться на левый берег было не так-то просто, паром почти все время обстреливался противником и, посылая на это испытание Логинова, Фомичев хотел доказать мне и всем остальным свою правоту. Что касается меня, то после ночи, проведенной в раздумье, я решил принять вызов. Пусть Логинов пойдет со



мной, пусть будет рядом — я увижу, каков он есть, своими глазами, и сам составлю представление о нем.

Ехать нам пришлось вдвоем. Фомичев надолго застрял в штабе полка, выписывая необходимые документы. Ждать было некогда, и я в сопровождении Логинова отправился на берег Волги, туда, где к разрушенной пристани подходил паром.

Парома однако еще не было. Он только что отчалил от другого берега. Я видел вдалеке несколько плоских понтонов, с деревянным настилом, на длинном канате их тянул за собой буксир. На понтонах стояли грузовики, покрытые брезентом, а между ними сидели и стояли люди. Когда вблизи от понтона взрывался снаряд и кверху взлетал столб воды, люди

падали на настил. А буксир, пыхтя, тащил и тащил за собой понтон так неторопливо, словно не было ему дела до стрельбы.

— Прямо на нервах играет, — сказал кто-то рядом.

В ожидании понтона на берегу скопилось несколько раненых и таких же, как мы, — у кого были дела на том берегу. Нам оставалось одно — терпеливо ждать, наблюдая, чем кончится игра со смертью, которая происходила посредине реки. Что ни говори, а ведь и нам вскоре, если понтон все же достигнет берега, придется испытать то же самое...

За все время Логинов не сказал ни слова. Он сидел поодаль, на камне, и, о чем-то думая, смотрел на другой берег... И вдруг я подумал, что почти ничего о нем не знаю. В стремительном беге времени и дел мне некогда было приглядываться к окружающим меня людям. Как часто бывало — ночью приходит пополнение и сразу же вступает в бой. А утром многие ранены и даже убиты. Эти люди рядом со мной всего несколько часов — пришли, сделали свое дело и ушли.

Я взял с собой Логинова, чтобы с ним поговорить, понять его, но он молчал, и в глубине души я был ему за это благодарен. Я так устал, что просто хотелось сидеть и молчать. В полукилометре шел бой, а здесь, на берегу, смотря на белые барашки медленно катящихся тяжелых волн, я чувствовал себя в глубоком тылу.

На левый берег мы перебрались без особых приключений. Я торопился. Следующий паром должен вернуться назад в пять часов вечера. Если мы опоздаем — придется ждать ночи. В половине пятого с тяжелым брезентовым баулом, опечатанным сургучными печатями, мы вновь стояли на берегу.

Быстро сгущались сумерки. Было холодно. Хотелось скорее добраться до своего блиндажа и отогреться у печурки. Логинов, в туго подпоясанном ватнике, тоже, видно, сильно продрог. По-прежнему он держался настороженно, был молчалив. За все время мы сказали друг другу несколько мало значащих фраз.

Паром долго не приходил. На берегу скопились машины с боеприпасами. Пожилой, усатый майор бежал от одного шофера к другому и срывающимся на ветру голосом приказывал рассредоточиться. Но его никто не слушал.

Вверх по Волге медленно прополз буксир, тянувший за собой на канатах от самой Астрахани две глубоко осевшие баржи с нефтью. Рискованное дело — тащить мимо Сталинграда баржи, каждая из которых — удобная цель для бомбардировщика, но другого пути нет. Добросовестно стуча машиной, буксир из всех сил шел против течения. Несколько снарядов разорвались вокруг него и около барж, но огонь был неприцельный.

Скорей бы подошел паром. Наконец, его темная полоска медленно отделилась от правого берега и поплыла к нам.

— Ну, Логинов, — сказал я как можно более бодро и дружелюбно, — давай не теряться. А то нас отожмут.

Он кивнул головой и промолчал.

Я показал усатому майору свои документы, и он пообещал, что пропустит нас на паром, хотя претендентов уже накопилось великое множество. Среди них был даже полковник из штаба фронта. Однако груз, который мы везли, не менее важен, чем боеприпасы.

Не буду рассказывать, каких трудов стоило нам

войти на этот проклятый паром, сколько было споров и даже ругани. Майор совсем охрип. Наконец на помост въехало несколько машин, они встали рядом. Между ними разместились люди.

Механик запустил мотор буксира, паром вздрогнул и медленно пополз к середине реки. Я смотрел на мальчишеское узкое лицо Логинова и чувствовал мучительную неловкость от бессилия заставить его говорить со мной так, как мне хотелось. А мне хотелось, сердито и значительно сдвинув брови, внушать ему истины о необходимости выполнять свой долг, о том, что надо быть смелым, стойким, исполнительным. Я готов был к тому разговору, который называл: «по душам». А Логинов стоял «застегнутый на все пуговицы». Его руки лежали на автомате. Он спокойно смотрел в бурлящую за кормой воду и совсем не смотрел на меня. Это меня сердило. Черт подери! В конце концов — я командир. Хочешь ты или не хочешь, но ты меня слушаешь... Но в этот момент случилось нечто, что заставило меня забыть о своем намерении.

— Летят! — крикнули с кормы.

Я взглянул в небо и увидел, что под облаками прямо на нас разворачивается звено «юнкеров». Дело оборачивалось плохо. Артснаряды ложились неприцельно, но «юнкеры» обязательно будут бомбить с пикирования и почти наверняка не промахнутся.

С обоих берегов по ним забили зенитки, но самолеты поднялись выше и скрылись в облаках. Не было сомнения в том, что это маневр. Они подкрадутся к нам поближе и пойдут в пике тогда, когда будут над нашими головами.

— Ты умеешь плавать? — обернулся я к Логинову. Он сузившимся, острым взглядом смотрел вверх,

стараясь понять, куда полетели самолеты. И все стоявшие вокруг нас тоже молча смотрели вверх, в темные клочковатые тучи, откуда доносилось глухое завывание моторов.

— Умею, — ответил Логинов, не прибавив «товарищ командир».

Я невольно отметил это, но сейчас было не до тонкостей субординации.

— Если что-нибудь со мной случится, — сказал я, — этот баул доставишь начальнику политотдела.

— Есть, — сказал он так угрюмо и твердо, словно меня уже ранило или убило.

И в эту минуту над нашими головами засвистели бомбы.

Сколько раз я попадал под бомбежки, но большей беззащитности, чем на плоту, посредине Волги, я не испытывал. На земле хоть в какую-нибудь щель впрыгнешь, а здесь, пожалуйста, прыгай в воду — иди ко дну или сиди и жди своего часа под колесами грузовика, доверху нагруженного снарядами.

Нет, более противного состояния я не испытывал никогда. А бомбы выли, и вой нарастал, давил на барабанные перепонки, казалось, рвал их. Это были бомбы-«педуны», они не только рвались, но и своим воем должны были психически подавлять.

Единственным укрытием была грузовая машина. Если бомба попадет в нее, то и рядом спасения не будет, а так все-таки есть некоторый шанс спастись от осколков. Я бросился под машину, где уже сидело, прижавшись друг к другу, человек десять, и рядом со мной примостился Логинов. Он был как будто спокоен, но я видел, как до бела побледнели пальцы его рук, сжимавшие приклад автомата. Баул оказался между нами, и мы прикрыли его, словно это был

живой человек, за жизнь которого мы оба были в ответе.

Через мгновение оглушительный удар потряс плот, и он наклонился в сторону. Послышались отчаянные крики. Машина над моей головой дрогнула и заскользила вниз. Под ее тяжестью плот стал спускаться под воду. Меня сразу же захлестнуло по горло. Мне показалось, что все погибло. Я ничего и никого не видел в бурлящих волнах и только продолжал изо всех сил сжимать ручку баула. Но тут, наконец, машина повернулась на бок, с грохотом посыпались ящики со снарядами, мелькнули колеса — и все кончилось.

Но то, что погубило машину, спасло меня и еще нескольких человек. Освободившись от груза, сохранившаяся часть плота выравнилась, и внезапно я почувствовал под собой опору.

Лежа на мокрых досках, оглянулся. Бомба попала в центр плота и расколола его на несколько частей. В стороне плыл еще один обломок — на нем стояла машина, а вокруг нее суетилось несколько бойцов. Вдалеке, накренившись на левый борт, из последних сил добирался до берега буксир.

На том клочке плота, где был я, лежало еще два человека. Один из них — полковник из штаба фронта, тяжело раненный в голову. Его не смыло только потому, что шинель зацепилась за крюк, к которому веревкой привязывались машины. Второй — шофер машины, которая пошла ко дну. Он успел выскочить из кабины и теперь сидел на краю плота, свесив ноги в воду, в полном отчаянии.

Логинова нигде не было. Кто-то плыл к берегу, но, приглядевшись, я заметил, что у того волосы темные, у Логинова же — северные, соломенно-желтые.

Остатки плота медленно скользили посредине

реки. Куда нас понесет? Этого никто не знал. Сумерки сгущались, найдет ли нас в темноте второй буксир?

Я встал на ноги и, сложив руки рупором, крикнул на берег:

— Эге-гей!.. Давайте буксир!..

Эхо разбросало мой голос и отозвалось где-то за мысом. И тут же невдалеке разорвался немецкий снаряд. Меня обдало с ног до головы водой, и волна чуть не смыла баул.

Вдруг я увидел, что прямо из воды к моим ногам тянется чья-то рука. В ту же секунду показалась вторая рука, а затем голова Логинова. Этого я ожидал меньше всего. Он словно вылез на плот со дна. Не успел я прийти в себя от удивления, а он уже стоял рядом и отряхивался от воды. Сапог и ватника на нем не было, но автомат каким-то чудом он сумел сохранить, и тот висел на ремне, перекинутом через шею.

— Ты откуда? — невольно спросил я и сейчас же понял, как нелеп вопрос.

Очевидно и Логинов это понял. Впервые за все время он улыбнулся.

— Вот оттуда, — указал он в воду. — Меня отбросило взрывом! А пока я раздевался в воде, вас унесло... Пришлось догонять.

Ему было холодно, и он приплясывал, дробно отстукивая голыми ступнями по доскам.

В это время полковник приподнялся на локте и подозвал меня. Его обострившееся лицо с мохнатыми бровями, сросшимися на переносье, выражало глубокое страдание. Он понимал, что умирает, и торопился сказать мне о самом важном.

— Товарищ лейтенант... Вот здесь на груди... в кармане пакет Чуйкову... Обязательно передайте...

Сообщите в штаб фронта, что я погиб... Моя фамилия Матвеев... Пусть напишут жене...

— Хорошо, — сказал я, опускаясь перед ним на колено. — Все будет сделано, товарищ полковник.

Он откинулся на спину и коченеющими пальцами стал расстегивать на груди шинель. Я помог ему вытащить пакет, прошитый нитками и запечатанный сургучной печатью. Увидев, что пакет у меня, полковник облегченно вздохнул и закрыл глаза.

А между тем наш плот медленно крутило на быстрине. Мимо проползали темные берега, изъеденные окопами, воронками от бомб и почерневшими островами зданий. Издалека доносились пулеметные очереди и редкие глухие удары тяжелого миномета.

Полковник лежал в забытьи и потому самым старшим на плоту был я. Мой «гарнизон» состоял из Логинова и шофера, который продолжал в полном безразличии сидеть на краю плота.

Что же делать? Кроме голых досок, на которых мы стояли, на плоту не было ничего, чем бы можно было грести. Ждать, когда нас возьмут на буксир, или когда прибудет к мели? Но сейчас быстро темнеет, и через полчаса с берега нас уже не будет видно. А за ночь нас унесет километров за сто к Астрахани — и кто знает, что еще может случиться.

Пока я размышлял над создавшимся положением, Логинов обошел плот вокруг по краям и остановился невдалеке от меня, спокойно, словно ожидая приказа.

Я присел на баул и стал рассматривать доски. Если бы оторвать хоть одну — ее можно было бы использовать как весло. Но как это сделать? Толстые доски, накрепко сбитые, скреплены огромными железными крючьями. Сколько ни трудись — не оторвешь.

— Слушай ты, шофер, — вдруг сказал Логинов. Чего ты киснешь? Подь-ка сюда!

Шофер оглянулся и нехотя поднялся на ноги. Это был высокий, худой, как жердь, парень, одетый в замасленный комбинезон. Небритое лицо его посинело от холода. Он стоял, понуро опустив плечи, и, видно, еще не пришел в себя после потрясения.

— Оружие есть? — спросил Логинов.

— Нет, — хмуро ответил шофер, — ко дну пошло.

— Ну, там из него раки стрелять будут, — усмехнулся Логинов. — А как же ты теперь к берегу добираться будешь? А, шофер?!

Шофер пожал плечами и хмуро взглянул на меня, словно это зависело от моего приказа. Но я молчал, думал до боли в висках и ничего не мог придумать. Однако та уверенность, с какой Логинов двигался по плоту, невольно вселяла в меня надежду, — теперь я начинал верить, что он действительно плавал на плотках. Уж очень привычно ступали его босые ноги по скользким доскам, и движения были уверенными.

— Что, Логинов, — сказал я как можно более весело, — ты же будто плоты гонял по Печоре!.. Ну вот, покажи свое искусство...

Логинов, прищурившись, взглянул на меня и двинулся вдоль края плота, с силой топая ногами. Я наблюдал за ним, стараясь понять, что он хочет делать. Плот разорвало неровно, одни доски были длинные, другие короче. Логинов внимательно изучал их, а потом подошел ко мне.

— Будем грести досками, — сказал он.

— А как их отломить? — спросил я.

— Отломить — отломим! — спокойно ответил он. — Вот эту с краю!.. И вот эту — в центре. Они метров по пять будут... Как, подойдет?

— Подойдет, — сказал я, еще не понимая, каким же образом он сможет их отломить.

— Так. Можно отделять?

— Можно.

Логинов быстро снял с шеи ремень автомата, подошел к тому месту, где доска была наглухо прибита толстым штырем к древку, и дал длинную очередь. Полетели щепки. Через несколько секунд доска уже лежала на плоту. Таким же образом мы получили и второе весло.

— Ну, шофер, давай рули. Спускай доску сзади да держи крепче. А я буду загребать влево.

Шофер повиновался и опустил доску ребром в воду в конце плота. Логинов встал с левой стороны и принялся орудовать своей доской, как веслом. Доска была тяжелая и все время скользила. Я решил помочь ему, но Логинов сухо отказался.

— Вы, товарищ командир, мне не мешайте. Я человек привычный — сам справлюсь... Эй, шофер! Держи правее!.. Еще правее!.. Больше, больше налегай!..

Шофер животом лег на доску, которая так и рвалась у него из рук. Я бросился на помощь к нему, и вдвоем мы кое-как справились. Плот медленно повернул к берегу. Мы вышли из быстрины и попали в более тихое течение, с которым было уже гораздо легче сладить.

Вдруг шофер взглянул в даль и дернулся, словно хотел бежать.

— Горит!..

Я посмотрел туда, куда он показывал, и чуть не выпустил доску, — она больно ударила меня по подбородку. То, что я увидел, было действительно страшно.



По реке, широкой полосой, почти от берега до берега, на нас быстро надвигалось яркое, красное пламя, чадавшее черным едким дымом. Я вспомнил про баржи с нефтью, которые прошли на Саратов. Очевидно их разбомбило и горящая нефть растеклась по Волге.

— Гребите быстрее, товарищи, — крикнул я.

Теперь, когда плот повернулся к берегу, вторая доска тоже могла выполнить роль весла. Мы поставили ее с правого борта и работали изо всех сил.

Но плот все-таки был слишком тяжел, а мы уже изнурены. Берег приближался, но гораздо медленнее, чем пламя.

Логинов греб искуснее нас с шофером, сильно и равномерно взмахивая веслом. Видя, как нам трудно, он начал считать, чтобы придать движению ритм. Но наша доска все время скользила вниз, и мы за ним не успевали.

До берега оставалось еще метров двести. Я решил привязать поясом баул с документами к доске, и пусть Логинов бросается с ним в воду. Документы должны быть спасены во что бы то ни стало. А мы с шофером привяжем себя к другой доске и тоже попробуем спастись вплавь.

Но тут я вспомнил о полковнике и оторвался от весла, чтобы посмотреть, жив ли он? Ощутив мое прикосновение, полковник шевельнул головой, приоткрыл глаза и что-то пробормотал. Это сразу же сорвало все мои планы. Я не мог оставить его в огне. Пусть плывут Логинов и шофер, а я останусь. Но когда я сказал об этом шоферу, тот испуганно затряс головой, — он не умел плавать. Таким образом, плот мог покинуть только один Логинов.

Я приказал ему быстро привязать баул к доске и

плыть с ним к берегу. Но тут опять произошло нечто такое, чего я не ожидал. Логинов упрямо взглянул на меня.

— Товарищ командир, и я не поплыву! — тихо сказал он.

— Почему? — закричал я. — Плыви, я приказываю!..

— Потому, что вы без меня погибнете.

— Я приказываю спасти документы!..

Логинов стоял, вцепившись в доску, лицо его было бледным.

— Товарищ командир, подумайте, что вы говорите! Самое худшее — документы сгорят или утонут. Они ведь не попадут к противнику. А мы сможем спасти жизнь полковнику...

— Мы будем грести без тебя, — настаивал я.

Он покачал головой.

— Без меня не справитесь.

Несколько мгновений мы стояли, в упор глядя друг другу в глаза. Конечно, я мог схватить автомат и силой заставить его выполнить приказание. Но ведь не от трусости он поступал так, а от великого мужества, какого я в нем и не подозревал.

Я повернулся и пошел к своему веслу. Шофер, казалось, терял последние силы. Он с трудом держался на ногах и несколько раз едва не упал в воду. Было самое время сменить его.

Я перенес баул на середину плота, который был шагов пять в длину и шесть в ширину. Если принять во внимание неровно обломанные доски, то он представлял собой неправильный четырехугольник. Полковника я подвинул к середине, а рядом с ним положил баул. И вдруг, впервые в жизни я подумал, что могу погибнуть. Но со мной погибнет и пакет. Куда

его деть? Если бы Логинов поплыл к берегу, пакет можно было отдать ему. Но теперь?..

Мне казалось, что мы попали в заколдованный круг. Жизнь каждого из нас зависела от другого, а жизнь полковника — от всех нас. Говорят, у людей есть второе дыхание. Я не знаю, правда ли это. Но откуда у нас взялись силы управляться с тяжелыми досками, я до сих пор не пойму.

До берега оставалось каких-нибудь сто метров, когда огонь догнал наш плот. Сначала он протянулся длинным и узким клином. Нам даже показалось, что мы можем от него уйти. Но через минуту мы были уже окружены пляшущими языками пламени.

Если бы кто-нибудь до войны сказал мне о том, что Волга может гореть, я счел бы этого человека, мягко говоря, фантазером. Бывают же такие люди — с богатым воображением. Но это была не фантазия, а правда, и мы были уже на краю гибели.

Густой черный дым мешал дышать, слепил глаза, вызывал судорожный кашель. При каждом покачивании плота горящая нефть попадала на доски, и они уже стали дымиться, по ним ползли змейки огня. Наши весла горели...

Вдруг шофер схватился за грудь и упал без сознания лицом вниз, рядом с полковником. Теперь мы остались с Логиновым вдвоем. Он по одну сторону плота, я — по другую.

Я оглянулся и поглядел на него. Он стоял черный от копоти и откидывал доской горящую воду. На какое-то мгновение невысокие волны оказывались узким барьером между плотом и нефтью, — тогда он начинал грести. Я тоже попробовал по его примеру воевать с пламенем. Но это было дьявольски трудно.

Тяжелая доска не повиновалась мне, она стремилась уйти под воду.

У нас началось глухое, отчаянное соревнование. Нет, я не мог уступить, — и не потому, что я был командир, и не потому, что я помнил, что нас разделяло. В эту минуту я забыл обо всем на свете, кроме одного: мы все должны жить.

Несколько горящих капель упало на баул, и он начал тлеть. Надо было потушить брезент немедленно, но я не решался выпустить из рук доску. Чуть только я переставал отбрасывать горящую нефть, как пламя сразу же бросалось к настилу. Меня охватывало отчаяние. И вдруг я увидел, что Логинов, не выпуская из левой руки доску, изогнулся и, ловко схватив правой рукой баул за ручку, быстро окунул его в воду и бросил назад.

Неожиданно плот обо что-то ударился, и я едва устоял на ногах. Раздались крики.

— Осторожнее!.. Сюда!.. Сюда!..

Несколько бойцов на железном баркасе, с баграми в руках, подошли к нам вплотную. Двое из них быстро перепрыгнули через борт, подбежали к полковнику, осторожно перенесли его в лодку, а затем вернулись за шофером. Я бросил доску в воду и схватил баул. Но его тут же отобрал у меня Логинов.

— Товарищ командир! Залезайте быстрее. Я дам вам его, — и вскочил за мной в лодку.

Мы вернулись к себе на батарею поздно вечером. Обе руки у меня были забинтованы. Только на берегу я почувствовал боль от ожогов. Начальник политотдела уже знал обо всем, что произошло, и считал и нас и документы погибшими. Но я передал ему и баул, и пакет для командарма, и у меня еще хватило сил добрести до своего блиндажа...

А на другой день утром я встретил на тропинке Логинова. Он чистил на куске газеты свой автомат. Увидев меня, он встал.

Я подошел к нему и сказал:

— Слушай, Василий!.. Вот что я тебе, друг, скажу... Тебя, конечно, представят к награде. Но это дело особое. А мне очень хочется дать тебе рекомендацию... Не откажи!

В глазах у него мелькнуло что-то живое, задорное.

— А ведь и я вам тоже могу дать рекомендацию, товарищ командир!.. Кончится война, приезжайте в наши края. Из вас хороший плотогон получится. Для первого раза у вас шло неплохо...

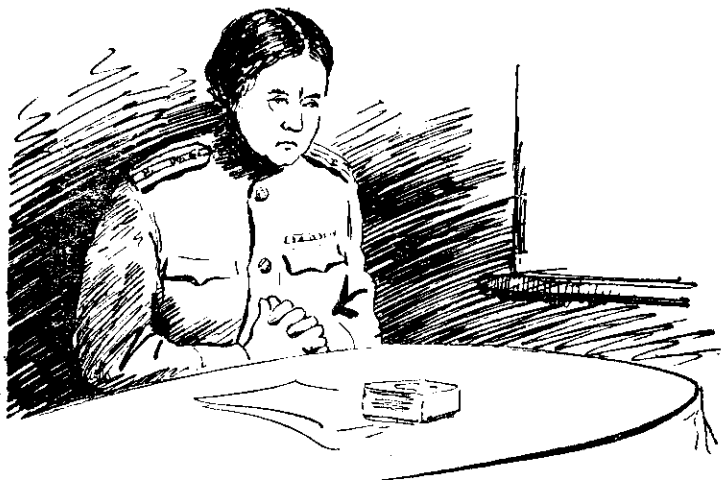
— Ладно, приеду, — улыбнулся я.

Вечером мы единогласно приняли его в партию, а на другой день секретарь партийной комиссии пришел к нам на батарею и вручил ему партдокумент, один из тех, что был в спасенном бауле. Некоторое время спустя в нашей батарее появился новый парторг — сержант Соколенок, — который оказался более подходящим для этого серьезного и важного дела, чем Фомичев.

Вот и конец давней истории. Мы говорим иногда — «школа жизни», но не всегда понимаем смысл этих слов. Подлинная зрелость приходит к нам в суровых испытаниях.

С того дня я перестал утверждать, что стоит мне взглянуть на человека и я вижу его «насквозь»...

1958 г.



МАТЬ ДРУГА

1

Зимним декабрьским вечером сорок пятого года Андрей Батенин постучал в знакомую дверь в одном из больших домов на Пионерских прудах.

На лестничной площадке тускло светила синяя лампочка — видно забыли заменить, или хозяйственный управдом ждал, когда перегорит. Андрей невольно усмехнулся — да ведь и шинель на нем теперь тоже лишь воспоминание о войне...

Ему почему-то долго не открывали. Он с волнением ждал, когда послышатся знакомые быстрые шаги. Пять долгих лет прошло с тех пор, когда он был здесь в последний раз, зашел за Михаилом. И вот вернулся...

Он шел к матери своего убитого друга. В глубине души понимал, как трудна будет встреча. Сумеет ли он рассказать ей все, до конца. Хватит ли мужества?

Нет, он не узнал ее шагов. Тихие, медленные, они приблизились к двери, остановились. Неверная рука долго боролась с испорченным замком.

— Кто там?

— Я — к Елизавете Никитичне.

— Андрей, неужели ты?..— послышался за дверью голос, знакомый и незнакомый одновременно. Прежде он не был таким глухим и надтреснутым.

В прихожей было темно, и Елизавета Никитична первая увидела его. У Андрея что-то оборвалось в груди, он быстро шагнул вперед и наткнулся на ее протянутые руки. Она обняла его и прижала к груди.

— Милый мой! Хоть ты вернулся ко мне!..

Она повела его к себе в комнату. В маленькую комнату, где стояли простые старые вещи: стол, за которым учился Михаил, диван, на котором он спал. Здесь все было как раньше, почти как раньше...

Андрей скинул шинель, повесил ее на гвоздь, пригладил обеими ладонями волосы.

Елизавета Никитична стояла посреди комнаты, опустив руки, и смотрела куда-то в стену. Как она переменялась. В первую минуту Андрею показалось, что она словно помолодела. Но это было только в первую минуту. Просто она похудела, и от этого стала легче, прямее, суше. К тому же на ней форма военного врача, а форма всегда подтягивает человека. Но как старчески приподнялись ее плечи, какие выпуклые лиловые жилки выступили на руках, какой желтоватой бледностью покрылись щеки! Да и волосы ее, еще недавно светло-русые, поблекли, потемнели. Седина подернула их серой пылью.

Но вот она тряхнула головой, отгоняя навязчивую мысль, и повернулась к Андрею.

— Ну, покажись, покажись, какой ты стал! — она взяла его за руку, подвела к свету и внимательно оглядела. — Изменился, повзрослел. До войны был совсем мальчишкой, а теперь уже зрелый человек, — старший лейтенант!.. Ну, да и я не кто-нибудь: майор. Ты должен меня слушаться!..

— Слушаюсь, товарищ майор! — улыбнулся Андрей.

— Есть хочешь? Наверное не обедал?

— Обедал, обедал, Елизавета Никитична, — он вспомнил те далекие дни, когда по вечерам, усталый и голодный, прямо из института прибегал в этот родной для него дом, где его неизменно встречали таким вопросом.

— Смотри, только без церемоний, — строго сказала Елизавета Никитична. — А то, небось, отвык от меня, еще стесняться вздумаешь... Садись за стол, будем пить чай!.. — она стала расставлять на столе чашки: — Мальчики, мальчики, вон вы какие большие стали... Не помню, ты с Мишенькой в одних годах?

— Он меня на полгода старше, — ответил Андрей.

С затаенной тревогой он ждал, когда Елизавета Никитична спросит о том, о чем он не мог рассказать ей в письмах. А теперь больше нельзя молчать. Надо говорить... Но как, как он скажет?.. Сердце у него замирало и во рту сохло, как бывало перед трудным экзаменом и перед началом атаки. Он пристально глядел в стакан с дымящимся чаем.

— Как твоя рана, Андрей?

Андрей вздохнул и, чтобы отдалить трудную минуту, стал торопливо и сбивчиво рассказывать о том, как его лечили в госпитале.

— Почему же все-таки не вынули осколок? — спросила Елизавета Никитична.

— Я был очень слаб. Врачи решили подождать, пока окрепну немного. А теперь я, вроде, к нему привык, — Андрей усмехнулся. — Он меня не беспокоит, и я его тоже.

— Это плохая привычка, — сказала Елизавета Никитична. — Я за тебя сама возьмусь. Будешь моим первым пациентом на гражданской службе...

Елизавета Никитична недавно демобилизовалась из армии, где прослужила двадцать шесть лет. Она была участницей трех войн. В этом году ей исполнился шестьдесят один год. Лоб и щеки изрезали мелкие морщинки, а подбородок дряблым комочком лежал на твердом воротничке офицерского кителя. И летчики, относившиеся к ней с большим уважением, называли Елизавету Никитичну «бабушкой авиаполка».

Чем ближе надвигалась старость, тем чаще Елизавета Никитична задумывалась над тем, как устроить свою жизнь. Старость ее была обеспечена. Но о будущем она думала с горькой тревогой.

Ей не хотелось уходить из армии, от молодежи, которая ее окружала, от всех забот и трудностей, от летчиков, которые редко болели, но любили заходить к ней в кабинет и беседовать обо всем на свете, но чаще всего, как с опытным в житейских делах другом, — о своих семейных неурядицах. Там было ее место, там она была нужна. Но силы уходят, и с этим ничего не поделаешь. Вот уже и пенсию она выслужила. Какое неприятное, старческое слово — пенсия!.. Ей запомнился последний день службы.

В штабе она спокойно и неторопливо расписалась под приказом о демобилизации. Потом закончила

сдачу дел новому, недавно присланному врачу и привычно, не заглядывая в зеркало, надела шинель и шапку.

Домой шла пешком: погода хорошая, а спешить некуда. Но, придя к себе в комнату, вдруг почувствовала головокружение, слабость, страшную усталость и прилегла на койку. Часы на стене показывали два — она вспомнила, что это время командирских занятий, поднялась с постели, надела на себя полевую сумку и поняла: это теперь уже ее не касается. И это прошло... Старость.

...За окном вспыхнули уличные фонари. Яркими светлыми пятнами мерцали окна. Из-за стены доносилась музыка.

— Как вы прожили все эти годы, Елизавета Никитична? — спросил Андрей.

Она ответила не сразу, собираясь с мыслями.

— Да как?.. Все время здесь, в Москве... В самые трудные дни наш госпиталь оставался на месте. Года два я жила там, при госпитале. И от того, что была всегда занята, было легче. В свободные минуты прибегала домой, чтобы посмотреть, нет ли писем в почтовом ящике. Но писем не было...

— В декабре и январе мы были в больших боях...

— Но я-то этого не знала. Я думала, что вы, мои мальчики, уже погибли. Старалась прогнать от себя эту мысль. Не могла с ней жить... Однажды ночью я проходила по палате тяжелораненых. Вдруг кто-то позвал: «Мама, мама!..» Я бросилась к той койке, на которой лежал раненый, — ну тот, что позвал меня. Он бредил. Нет, это был не Мишенька. Помню, я не удержалась и заплакала здесь же, у его кровати. К счастью, никто не видел моих слез. Врачу нельзя плакать при больных!..

Елизавета Никитична помолчала, потом с благодарностью положила свою руку на руку Андрея.

— Спасибо тебе, Андрей. Ты так поддержал меня своими письмами... Только, когда я уже точно узнала, что Мишеньки нет, — мне не захотелось жить. К чему, если нет сына, которого я растила, рядом с которым мечтала провести свою старость? В эти дни я спасла жизнь одному лейтенанту. Он погибал от голода. Осколок гранаты пробил ему желудок. Я сделала сложную операцию, и он стал поправляться. У лейтенанта на Украине погибла семья, но он не хотел умирать. Он умолял: «Доктор, вылечите, я еще пригожусь!..» И тогда я подумала, Андрей, что и мне пока нельзя умирать, раз я еще могу пригодиться... Ну, а теперь я вышла на покой...

— Пора вам и отдохнуть, — сказал Андрей.

— Нет, не о такой старости я мечтала... Я ужилась бы с любой невесткой. Нянчила бы своих маленьких внучат.

Она прижала к глазам платок и беззвучно заплакала. Плечи ее вздрагивали.

— Елизавета Никитична, дорогая, не плачьте. Я всегда буду с вами, — горячо сказал Андрей.

В кармане его гимнастерки лежал маленький тугой сверточек. Андрей вынул его и бережно развернул. Сверкнула кроваво-красная эмаль.

— Вот орден Михаила...

Елизавета Никитична быстрым движением положила орден перед собой.

— Спасибо, — сказала она. — Спасибо, что ты сохранил его, Андрей. — Она разглядывала орден так пристально, словно он был совсем иным, чем тот, который носила она сама. — Как же он попал к тебе?

— Михаил отдал его, когда мы прощались.

— Перед смертью?

— Нет, когда я уходил.

— Ты уходил, а он оставался? — быстро спросила она и пристально посмотрела на Андрея.

Андрей ответил не сразу: разговор начался, сделав первый шаг.

— Может быть, мы потом поговорим? — тихо спросил он.

— Нет, нет, — настойчиво сказала она. — Я хочу знать...

— Да, Михаил оставался, — сказал он. — Это было тогда, когда мы после сильных боев под Новгородом попали в окружение. Командир полка и начальник штаба были убиты, я стал во главе всей группы.

— Михаил был с тобой?

— Да. Я все время поддерживал связь с ним. Но он находился при своей роте. Потом...

— Что было потом?

— Немцы сжимали кольцо. Вы понимаете, Елизавета Никитична, что с нами было? В кольце с каждым часом все больше убитых и раненых. Наконец, на триста боеспособных оказались сто истекающих кровью людей. Офицеров осталось всего семь человек. Нужно было выбирать между смертью и возможным спасением, если удастся прорваться через кольцо. Мы долго искали место... Михаил держался хорошо. Он все время писал мне, что нужно прорываться, — Андрей взглянул в лицо Елизаветы Никитичны — она напряженно смотрела на него, вслушиваясь в каждое слово.

— Мишенька не боялся? — переспросила она.

— Нет, может быть, он и боялся, как все, кому

грозит смерть, но он оставался командиром. И никто из его солдат не побежал.

Елизавета Никитична вздохнула и откинулась на спинку стула. Андрей продолжал:

— Решено было ночью сбить боевое охранение немцев и по болоту выйти к своим. Это был риск! Немцы могли нас утопить в трясине. Но смерть все равно была неизбежна, и мы решили идти... Я сказал, Елизавета Никитична, что оставалось семеро командиров. К тому времени, когда начали осуществлять прорыв, трое из них были уже ранены. И раненых бойцов тоже стало, конечно, больше. Раненые усложняли положение, но бросить их мы не могли. Тогда решили: нужно оставить заслон, который бы отбивался от немцев, пока основной отряд, неся раненых, будет пробираться к своим. Я не хотел никого назначать. Вызвалось больше сотни бойцов, а командиры — все до одного. Оставили пятьдесят солдат. Командовать ими хотел сам, но офицеры запротестовали: я должен был командовать основным отрядом. Тогда я спросил — кто же останется? Опять вызвались все. Одним словом выбирать командира заслона пришлось мне самому.

— И ты... — кровь отлила от ее лица и она сжала руку Андрея. — Ты выбрал Михаила?

Андрей молчал.

— Ну, отвечай же!.. Ты выбрал его?

— Да, его, — с трудом ответил Андрей.

Она отпрянула, и некоторое время сидела, опустив голову, закрыв глаза. Когда же она опять взглянула на Андрея, взгляд был чужой и враждебный. — И ты выбрал его, зная, что обрекаешь на смерть?

— Да, — ответил он. — Надежды на спасение поч-

ти не было. На них должен был обрушиться весь огонь немцев.

Она протянула к нему руки:

— Но почему же именно его? Почему не другого? Он был твоим лучшим другом!..

— Я верил в него... Я знал, что он выстоит!... Наш отряд пробился... Мы шли трое суток, вывели раненых... Из группы Михаила спасся только один боец. Он рассказал мне о его смерти.

Наступило мучительно долгое молчание.

— Неужели нельзя было поступить иначе? — наконец спросила она.

— Нет, Елизавета Никитична, другого выхода не было...

Она глядела мимо Андрея, куда-то в окно неподвижным, отчужденным взглядом.

Ну, вот — он и сказал ей все.

Андрей поднялся.

— Я пойду, Елизавета Никитична...

И медлил, ждал, может быть, она удержит его. Но Елизавета Никитична тяжело поднялась и вышла в коридор. Хлопнула дверь. Очевидно, ушла к соседям.

2

С того вечера прошло много дней, но Андрей не мог решиться вновь пойти к Елизавете Никитичне, несмотря на то, что стремился к ней и понимал, что должен, не имеет права не пойти...

И вот в конце января, проходя Никитскими воротами, он, неожиданно для самого себя, свернул за угол, на Малую Бронную.

Было морозно. Деревья оделись инеем и блестели пронзительными искрами в рассеянном свете фонарей.

Дверь отворила соседка Елизаветы Никитичны, полная женщина с круглым, добрым лицом. Рукава ее платья были закатаны по локоть и руки белы от прилипшей к ним муки. Она, видимо, кого-то ждала, потому что, увидев Андрея, разочарованно кивнула ему и устремилась на кухню.

Дверь комнаты Елизаветы Никитичны была закрыта. Казалось, за ней никого нет. Андрей тихо постучал. Он не расслышал, что ему ответили, но все же вошел.

Елизавета Никитична писала, сидя за столом. Она, как и в прошлый раз, была в военном кителе с погонами. Но как постарела она за это недолгое время! Маленькая седенькая старушка смотрела на него поверх очков в металлической оправе, которые придерживала рукой.

— Я не помешал вам, Елизавета Никитична? — спросил Андрей стоя в дверях и испытывая мучительное волнение. — Я на одну минуточку... Шел, вот, мимо... решил навестить...

— Как поживаешь? — спросила Елизавета Никитична, не приглашая его входить. Она отложила в сторону перо, сняла очки и вложила их в порыжевший кожаный футляр.

— Уже работаю, — сказал он.

— Вернулся на завод?

— Да.

Помолчали.

— А как вы, Елизавета Никитична?

— По-прежнему, — ответила она.

Жесткая скорбная складка рта придавала ее лицу выражение замкнутости, суровости. Рука нетерпеливо постукивала по краю стола кожаным футляром.

— Вы работаете? — спросил Андрей.

— Да, в больнице, — сказала Елизавета Никитична. — Тебе нужна помощь?

— Нет, — смутился Андрей, — не нужна.

Наступило томительное молчание. Елизавета Никитична, отдавшись своим мыслям, больше не замечала его.

Андрей оглядел комнату — и она тоже постарела. Никогда еще не видел он здесь такого беспорядка. Вещи потеряли свои места. На столе, вперемешку, лежали книги, проволоочная вешалка, ножи, вилки. Тут же стоял стакан, рядом с ним чернильница, а около чернильницы на бумажке — буханка хлеба с отрезанным ломтем.

На стене в черной рамке висел портрет Михаила. Это была та самая фотография, которую Михаил послал матери еще в первый год войны. Он был снят в шинели и без шапки. Фотографировали его для партийного билета. Елизавета Никитична увеличила фото. Брови Михаила сдвинуты, глаза улыбочиво прищурены, словно им до сих пор больно смотреть на тот яркий морозный день, который давно прошел.

Елизавета Никитична взглянула на портрет, затем на Андрея. Он был в такой же шинели, как и ее сын, — на его плечах еще оставались следы от погон. Андрей на мгновение встретился с ней взглядом, но она отвела глаза.

За стеной весело играл патефон. В шкафу, в такт музыке, ритмично подрагивала посуда — в соседней комнате танцевали. И от того, что рядом жило веселье и молодость, еще тяжелей и тоскливей становилось здесь, где все напоминало о смерти.

— Ну, заходи как-нибудь, — холодно сказала Елизавета Никитична, давая ему понять, что сейчас он должен уйти.

Он попрощался и со стесненным сердцем вышел из комнаты.

В коридоре его едва не сбили с ног две девушки. Они выбежали из кухни: одна со стопкой посуды, другая — маленькая, белокурая с большой косой, неслала на блюде румяный пирог.

— Ой, дяденька, посторонитесь! — закричала она и подошла к двери Елизаветы Никитичны.

— Тетя Лиза, идите к нам!.. Пирог готов!..

Андрей прислонился к стене. Девушки прошмыгнули в свою комнату, откуда тотчас же раздался многоголосый крик восторга.

Из другой комнаты, расположенной ближе к выходным дверям, доносился стрекот швейной машины. Там жила белошвейка Марья Федоровна, которая до войны шила ему и Михаилу рубашки.

Все в этом коридоре знакомо. Вот деревянный сундук — не раз, сидя на нем, они с Михаилом шепотом обсуждали свои сердечные дела. И вот здесь, у дверей, на гвоздях, висит обернутый в газету велосипед Михаила. Накануне мобилизации Андрей помогал Михаилу смазывать втулку заднего колеса.

На пороге он в последний раз оглянулся. Дверь комнаты Елизаветы Никитичны была чуть приоткрыта... Вот если бы вернуться назад!...

Андрей вышел на площадку лестницы. Замолкли звуки музыки, притих стрекот швейной машины. И вдруг, когда он уже спустился на нижнюю площадку, наверху хлопнула дверь, и он скорее угадал, чем услышал, слабый оклик:

— Андрей!..

Перепрыгивая через две, через три ступеньки, он взбежал наверх и, спустя несколько мгновений, держал в объятьях ее, маленькую, легкую, как перышко.



Положив голову ему на грудь, Елизавета Никитична плакала, содрогаясь от глухих рыданий.

— Успокойтесь!.. Успокойтесь!.. — говорил Андрей, чувствуя, что его руки, которыми он обнимал ее, мокры от слез.

— Андрюшенька... Андрюшенька,—повторяла она.

Немного успокоившись, она повела его обратно в комнату и здесь, усадив рядом с собой на диван, смотрела на него и плакала.

— Сколько я пережила за это время, — сказала она, беря его за руку, — сколько бессонных ночей провела, думая о нем, о вас обоих...

Андрей целовал ее мокрую от слез щеку.

— Как я вам благодарен... Как я вам благодарен, что вы поняли...

— Ну, расскажи мне, расскажи все сначала, — потребовала она.

И Андрей рассказывал о первых боях, о том, как их батальон сутками лежал в болотах, как выли над ними мины и как отважно вел себя Михаил в минуту опасности. Она слушала не перебивая, и лишь все сильнее и сильнее сжимала его руку.

Они долго сидели так рядом. Потом Елизавета Никитична встала.

— Ну, Андрей, проводи меня. Мне надо в больницу.

Он помог ей надеть шинель и, осторожно ведя ее под локоть, спустился по лестнице. На улице в большой меховой шапке и в шинели она выглядела подтянутой, энергичной — майор медицинской службы!..

— Ты приходи ко мне чаще, — говорила она, — ведь у меня ближе тебя никого нет.

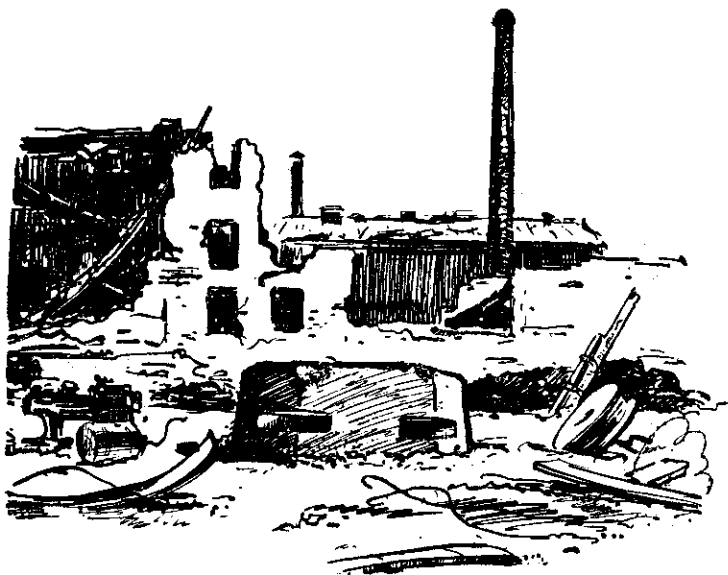
— Обязательно, обязательно, — горячо ответил он. — Теперь я часто буду приходить к вам.

Трамвай был почти пуст. Елизавета Никитична вошла на заднюю площадку последнего вагона и махнула Андрею рукой.

Вагон, звякнув, тронулся и, быстро набирая скорость, помчался к Пушкинской площади.

Андрей стоял и смотрел ему вслед.

1958 г.



ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ

Директор завода Иван Иванович Мотылев смотрел на заводской двор из окна своего кабинета, если только можно было назвать кабинетом небольшую каморку в одноэтажном деревянном доме, построенном между развалинами литейного цеха и железнодорожной веткой, по которой сейчас медленно катились платформы, груженные кирпичом, мешками с цементом и железными конструкциями.

Круглое, обрюзгшее от бессонных ночей и постоянных забот лицо Мотылева казалось мрачным, замк-

нутым. Он напряженно думал, пристально вглядываясь в глубину заводского двора.

Завод еще лежал в развалинах. Повсюду громоздились разбитые снарядами стены и рухнувшие перекрытия. В талом весеннем снегу чернели остовы станков — это напоминало те напряженные ночи, когда все здесь содрогалось от взрывов, но полк Мотылева держался и не отступал.

Директор глядел на пепелище, прикидывая, как лучше проложить новые дороги к площадкам, на которых будут возведены новые цехи. Но как он ни прикидывал, как ни проводил мысленно дороги в разных направлениях, все выходило так, что невозможно обойти низкую башню, напоминающую неправильный шестигранник с узкими щелями, расположенными почти над самой землей. Это был дот, который в одну ночь построил его друг Приходько, командир саперной роты. Дот отбил все атаки немцев и отстоял завод. А Приходько погиб при обвале здания, и тело его не было найдено.

Мотылеву очень хотелось проложить дорогу таким образом, чтобы дот остался нетронутым, как памятник саперу Приходько. Но дот стоял в центре заводского двора, на перекрестке путей — правильное место выбрал ему Приходько, и Мотылеву никак не удавалось найти нужное решение.

В кабинет вошли вызванные на совещание начальники строительных участков в перепачканных глиной и известью ватниках. Они окружили директорский стол, на котором не было ничего, кроме одинокой чернильницы, и ждали, что скажет им Мотылев.

— Садитесь, товарищи, — сказал директор и, раскрыв коробку папирос, предложил всем закурить.

Директор начал говорить так, как должен говорить

всякий директор, когда дело движается медленно и необходимо принимать серьезные меры. Выходило, что главным виновником срыва работ является инженер Кузнецов, у которого дела шли совсем плохо.

Инженер Кузнецов, высокий, узкоплечий человек, встал и срывающимся голосом начал оправдываться:

— Я, Иван Иванович, не виноват. Снег, сами видите, растаял, теперь к моей площадке дороги нет. Кирпич на руках за двести метров носим...

— Дорогу нужно расчистить, — строго сказал директор.

— Да ведь дот на дороге, — крикнул Кузнецов и со злостью ткнул пальцем в стекло. — Его не обойти, на самом пути торчит...

Директор помолчал.

— Конечно, дот мешает, — поддержали Кузнецова строители цехов, — на самой дороге построен. Его надо сломать.

— Дот этот хорошо построен, — резко сказал Мотылев, — умело, Приходько строил. Вы его не знали, Приходько, а я знал. Это был хороший сапер. Он строил быстро и крепко. Много труда нужно, чтобы этот дот сломать.

— А мы его взорвем, — перебил его Кузнецов и оглядел присутствующих. — Взорвем — и все! Теперь обороняться нам не от кого!.. А что касается Приходько, может он и хороший сапер был, но кто же строит дот в таком месте...

Мотылеву хотелось оборвать Кузнецова и вступить за Приходько, но он промолчал. Перед его глазами внезапно возник темный свод землянки и командиры, сидящие вплотную к Мотылеву, и При-

ходько между ними, ждущий приказа о том, чтобы на рубеже обороны построить дот.

И Мотылев вдруг необычайно остро ощутил ход времени — вот, война кончилась и в действие вступили новые законы, которые так же неумолимы, как неумолимы были законы войны. Как ни дорого отошедшее, как ни славна память об убитых друзьях, но прошлое не должно стоять на пути будущего...

Среди сидевших вокруг директорского стола не было ни одного из тех, кто воевал вместе с Мотылевым, но почти у каждого, как и у него, на груди были орденские ленты, и чутьем фронтовиков они почувствовали, что директор колеблется в своем решении, потому что этот дот ему очень дорог и он хочет сохранить его нетронутым.

— А, может быть, товарищи, мы дорогу повернем с севера в обход, — предложил старый мастер Гришин, худошавый, стареющий человек, многозначительно кивнув Кузнецову и тем самым дав ему понять, чтобы он не настаивал на своем предложении.

— Да, пожалуй, можно, — согласился с ним инженер Ермолаев, самый молодой из всех.

— Нет, — вдруг твердо произнес Мотылев. — Мы взорвем дот сегодня же... Нельзя терять время на строительство обходных дорог, когда есть прямые... Товарищ Кузнецов, готовьтесь взрывать... Вопрос решен, — добавил он, оглядев присутствующих, никто из которых не двинулся с места. — Можете быть свободны, товарищи командиры... — он тут же понял, что оговорился, улыбнулся, но ошибку не исправил...

Через час в кабинет Мотылева вошел Кузнецов и доложил, что все подготовлено к взрыву.

Мотылев осведомился, выставлено ли вокруг

ощепление, все ли меры безопасности приняты, и дал распоряжение взорвать дот.

Он приоткрыл окно, чтобы взрывная волна, прокатившись по развалинам, не повредила стекол.

Холодный воздух проник в комнату, и Мотылев зябко закутался в накинутое на плечи пальто. Он смотрел вдаль, туда, где в вечерних сумерках едва виднелись очертания дота.

Прошло немного времени, и в небо взметнулось ярко-красное, ослепляющее пламя. Затем последовал короткий тупой удар взрыва.

Еще долго даль застилалась густым черным дымом. А потом дым рассеялся...

Мотылев плотно затворил окно и вернулся к столу.

Вокруг было совсем тихо. Но в его ушах еще звучал удар взрыва как последний салют другу — саперу Приходько.

1946 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Партбилет	1
Мать друга	29
Последний салют	44

Техн. редактор Ю. Гончаренко.

Корректор А. Шабалова.

Адрес редакции: Москва, И-53, Садово-Спасская, ул., д. 1/2.

Тел. К 2-40-73.

Г-60118. Сд. в набор 18/II—60 г. Подп. к печ. 11/III—60 г. В печ. л. 55 000 тип. зн.

Бумага 70×108¹/₃₂—1,5 печ. л. — 2,05 усл. печ. л. Цена 50 коп. Зак. 112.

Первая типография

Военного издательства Министерства обороны Союза ССР.

Москва, К-6, проезд Скворцова-Стеланова, д. 3